



**Календарь
природы**

**Иоланта
Сержантова**

6+

Иоланта Ариковна Сержантова

Календарь природы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63632567

SelfPub; 2021

ISBN 978-5-00140-688-4

Аннотация

"Календарь природы": ...или новеллы и рассказы о природе Родины С 1 апреля по 1 декабря 2020 года проходил II Международный конкурс рисунка к этой книге. Ребята из разных стран обрисовывали образы и ощущения, которые возникали в ходе прочтения. В школах, лицеях, гимназиях, детских садах, творческих студиях, колледжах, церковно-приходских школах и библиотеках проходили коллективные чтения и сбор рисунков по их окончании. Иностранцы просили о помощи переводчиков. Книга рекомендуется для внеклассного чтения.

У каждой природы своя Родина, у каждой Родины своя, особая природа...

Содержание

Застольная	4
Память	11
Только и всего	13
В самом деле	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Иоланта Сержантова

Календарь природы

Застольная

Поверхность пруда стянуло рубцом ледяной коры. И вычеркнуло из были удивлённые озябшие лица рыб. Избавило от музейной деликатной поступи улиток и напускного равнодушия лягух. Измятые измокшие платки лилий, мелко изорванные при расставании, оставлены тут же.

Мышь ступает на воду. Несмело сперва. Неспелое решение крепнет об руку с ожесточающим сердце льдом. А после, – движения резвы, споры, мелки. Опрометью почти! И в момент, как кажется, что не будет конца этой лёгкости и скольжению, – выступ едва видимый, да осязаемый со стороны удар. Ощутимый даже через толстый мех зимней шубы. До ночи в глазах. До крика. Ну... И как тут не воззвать?! К кому только...

Неловкие в своём упорстве, семят по скользкому и птицы. Сильные в иную пору, их ноги слабы в противоборстве с мощными торсами почти игрушечных торосьев. Гла-адкое гадко, обворожительно. Сомнительно весьма. Но так и тянет постучать тем, кто заперся внизу, подо льдом:

– Эй! Вы, там!?! Не спите?!

А чего ж им не заснуть-то? Понятное дело – дремлют. Рыбы в войлочных чепчиках до носу и белых валенках на босу ногу, лягушки в болотного цвета спальниках. Улитки – каждая у дна своей колыбели, но ближе к тусклому со сна боку лягушек. Так нестрашно меньше.

И повсюду – плавунцы, семечками, вперемешку с семенами. Которые местные, устраиваются удобно. Осматривают будущих соседей, родных. Пришлым же неуютно, как и всегда. Им, опухшим со сна, только два пути весной. И оба застольных, только выход неодинаков у них. Одним раствориться бесследно, а иным – вцепиться пятернёй корней, что есть мочи в землю и тянуть себя к солнцу, радости и теплу. А там уж – пусть треплет ветром чуб, пускай мочалит дождём. Это всё так... Так недолго. Как недолго всё.

Оттепель

Синица пытается расправить скатерть воды. Встряхивает её, тянет за один край, за другой. Но всё выходит не так. Крахмал мороза, что держит в строгом порядке сгибы и края, манкируя несговорчивостью своей, отступил. И... как быть теперь? Откуда взяться укладу?

Поползень шилом носа пытается приструнить воду, подсобить синице. Но – не сладит никак с волной. Та шалит, шелестит, шалая. Трогает берег нежным пальчиком. Радует его шороху, упивается им. Трётся мягкой щекой. Шепчет:

– Не грусти, я скоро.

– Ага, как же... – хмурит брови тот, крепится, не даёт ска-

заться иным словам.

А рыбы робко подпирают лбами тонкую ткань. Но не рвутся, не рвут. Кому, как не им известно, каково это – веслом под ребро. Невесело, весомо... с навеса...

И отступается птица. Чувствами ведОмость вЕдома ей. И синицу крылом, тихо:

– Не лезь, оставь их, грустно.

– Пожалуй, – соглашается та, и – голову набок.

Да, пряча неловкость в ловко сидящий на ней пиджак, бормочет, – Где-то у меня тут был... Посеяла, должно быть, по дороге. Пойду, поищу.

Воробьи

Мягкими новогодними шариками устроились воробьи в ветвях сосны. Их невзрачность элегантна, монотонность благородна, сосредоточенность на мелочах, как примета тонкого чувства вкуса к бытию. Та подробность, с которой происходит их жизнь, вызывает лёгкую оскомину сожаления к самим себе. Мы не умеем вот так же легко расставаться, не можем прощать столь же безоглядно, и беззаветно защищать чужого, как если бы он был родным, близким... Созревшей горошиной, которой скормил на полтора лота¹ собранных тобой мошек.

В воробьях не отыскать основательности дятла, суетливости ополовника, высокомерия филина или пронизательно-

¹ лот равен трём золотникам, 12 граммам

сти ястреба. Этого всего нет и в помине. Но как-то забывается то при виде серо-коричневых птичек, сгрудившихся пчёлами у горсти семян, с барского плеча человека.

Ссорятся... друг с другом, за нерасторопность, невнимательность, за лишённое жизни сострадание. Теснятся они, дают место голодному поползню или исхудавшему дятлу. Нет-нет, да скинут крошку в озябшую ладошку мышонка, – не грусти, малОй! Весна скоро!

Бывает, запоздав с помощью сам, находишь в безопасности берега длиннохвостую синицу. Та шалила посередь пруда на смертельно озябшем листе кувшинки, да едва не захлебнулась насовсем. Стараясь поспеть, выбегаешь из дому в чём был. А застаёшь лишь измокшую проказницу, и на силу успеваешь заметить трёх невзрачных птиц, ускользнувших от одобрения. Не к чему им огласка. Скромны... ли? Да нет, вроде. Вездесущи и незаметны. Они – как воздух. Воробьи шелестят ветками калины, коли ветру недосуг. Ерошат траву, стряхивая с неё росу, иней или первый робкий снег. Они – та часть, без которой пространство теряет своё величие. Это тот совершенный цельный мир, которого тунно² пытаемся достичь, а сами проходим мимо, не узнавая его в лицо...

Кто ты...

До той поры, пока бутон леса не раскроется навстречу расцвету, воздух, словно отвар рыбьего клею, – густ и покры-

² напрасно, тщетно

вається дрожью, чуть тронь его. Этот трепет передаётся каждому, кто осмелиться ступить под сень осиротевших осенних стволов поутру. Нарочито ленивые олени в сей час не так опасливы. Манерно отставив за спину крыло, дремлет дятел. Кабаны томно потягиваются на своих диванах и чихают от дыма собственного дыхания. Глядя в никуда, змеи хрустят подгоревшими вафлями лесной подстилки, шумно прихлёбывая утренний чай с корицей. Всё так, под спудом. Поодиночке... вместе. Совместно. Минуя тайн. Все на виду, но между прочим, не напоказ.

Полдень ржавого леса иной. Он просторен, прозрачен, частью отчуждён. Запутавшийся промеж деревьев воздух состоит в большей мере из ртути небес и от того звонит. Ибо – хрусталь!

Возбуждение сосуда, в котором заключено пространство, сходит на нет лишь к закату. Но до той поры – пей из него вволю.

Вбирая его в себя нежадно, ощущаешь кружение мира округ. Радуетесь быть в нежных объятиях внимания. Внимаешь... Алчность же холодит сердце, пробирает до основы, лишает немногих сил. И внезапная жалость к себе принуждает присесть на блестящий зелёный бархат мха уже поверженного дуба и передохнуть. Одуматься.

Не тревожась присутствием сторонних, хлопчут мыши. Обирают лишайник цвета арлекин. Наполняют им спальни, устилают полы в коридоре. Рядом со входом в их до-

ма, – сугробы бирюзово-зелёного оттенка, использованного и ненужного уже, то ли гриба, то ли водоросли. Который, как и мы, не вполне ещё понимает, кто он.

Лишённый убеждений, хорош способностью быть и тем, и другим одновременно. Но... притворяясь не таким, каков ты на самом деле, разве сумеешь узнать себя? В зеркале, в памяти, отражении глаз, стремящихся найти в тебе то, чего в тебе давно нет, – истины. Правды. Любви. Одна лишь надежда, похожая на корысть. На коросту, что творится наспех поверх ран, от которых не уберёмся не ты, ни я...

Только там...

Утро отрезало край пирога горизонта, и малиновая прослойка рассвета забрызгала округу. Всё стало розовым, как со сна: сосны, берёзы, дубы... Даже осины склонились благостно в полупоклоне, дабы скрыть смущение, что передалось им.

Меренги облаков сползли по одному, да и звёзды цуккатами осыпались бойко. Одна за одной. Одинаковые. А те, что попроще – стояли до следующей ясной ночи, не успев ничего ожечь. Да сколь же ждать то её, ясности?

Сквозь сколы неба вытекает солнечный свет. Мед-лен-но? Ещё медленнее. И, как на ладонь створки моллюска, выкатывается из раковины облака, будто из пены морской, солнце. Жемчужиной. Розовой! И ведь – не больно глядеть... Жалует. Жалеет.

Путано всё. Опутано. Путно. Голубые, белые, и цвета

некрепкого чая звёзды, как пауки тянут свежую паутину света. Но не для того, чтобы светить, а света ради. Противное тьме состоянье...

Сорока обнимает ветку загодя, на подлёте. Юсю³. А та струится предательски. Вьётся, потакая ветру, который вытряхивает раздражённо последние ноты лета из ивовых корзин.

И ведь одерживает верх. Зашвыривает подальше скребло месяца последним верным движением... И с высоты, неторопливо, раз-ме-рян-но сыплется снег... подзабытой круглой крупой саго. И не тает, но тонко царапает сердце. Сквозь саги дум о радости, воле и том беззаботном «всегда», что с проверочным неодушевлённым существительным «детство». Воодушевлённым и существенным. Важность которого не понимает никто. Ибо – только там праздник. Ибо только там живы все.

³ буква старославянского алфавита

Память

Кристаллы льда, бабочками, бочком. У кого подсмотрели? Надоумил кто?! Иль ветер подсказал то?

Иней бодается рожками, смеётся, сияют его глаза. Сиятелен лес, в обрамлении белоснежных венков.

Солнце, в недолгие часы, что отведены, тщится прожечь середины стволов. Но холодное их небрежение высокомерным жаром так явно, что и отступление бесславно в меру.

А в миру... Негромкие беседы, тихие слёзы, покорность. Красок нет. Они всё – радуга. Оттуда. Из той, непостижимой разуму пустоты. Из тех мест, где вьётся неуместный трепет надежды на то, что «всё не зря».

Бесстыдство наступления зари после бессонной ночи... очевидно столь. Сколь и простительно. Но – тешиться тишиной тщетно. И, прервав затянувшееся молчание, ворон вновь зовёт её:

– Ночь⁴! – И несёт на своих крылах дальше. Липкую, долгополую, леденящую.

Слава без рассуждения о ней – память. А много ли таких, памятливых? Или тех, достойных воспоминаний о себе...

Мороз

⁴ время, когда солнце бывает под закрытом

Так остро запахла берёза в печи. ХолОдностью. Пихтой. Но ладаном больше... Морозом? – в том видится довод. На пихту – ... глядела, должно быть, была влюблена. А ладаном? Ладно.

Мы станем творить чудеса, чтобы грусть не казалась приличной. И будем себя сторониться. Обличий, к которым привыкли. Рядиться не станем. Не тех мы искали утех. Не искали. И дали не манят. Едва ли.

Продольна. Идёт полосой. Дорога. Кончается повод, как рвётся. Сомнительный довод – стремления. Бегство, похоже. От тех, кто не так осторожен.

И так же, началом, – берёзовый ломтик в печи. Он кричит. И... тот запах, как ужас. Тот, ладан. Ох, неладно округ. Ох, нескладно.

Но, склоняя полено к огню, я его в тот же час разлюблю. Как бы ни было больно. Но горше – я себя ненавижу. Что больше?

Что страшнее? Да воли стекло, словно льдинка рыдает. Тепло...

Только и всего

– Руки неба в натруженных венах дерев. Древки сосен обветрены. Шелушатся тела их. Чешуйки загара, лепестками сыпясь...

– И редеет, состарившись, лес!!! Что ты читаешь?

– Я пишу.

– Вслух?!

– Ну, да. Пишу и пытаюсь понять, как это выглядит со стороны.

– Глупо.

– Что?

– Выглядишь глупо.

– Ну... вот...

– Да не расстраивайся. Это твоё обычное состояние.

– И в чём моя глупость, по-твоему? Растолкуй!

– Если это тебя не заденет, изволь, объясню...

И, представьте, она заговорила! Она рассказала мне о том, что играть в прятки с мышью нелепо, не давить паука подошвой преступно, а лягушки, с которыми я дружу, глупы и омерзительны. Рыб же, что замирают, подставляя спинки, дабы я пригладил их чешую, давно следовало изловить и изжарить на постном масле.

– Ты это всё всерьёз, – спросил я её, когда она перестала говорить. Я очень надеялся, что она рассмеётся задорно, как в тот день, когда мы познакомились. И скажет: «Конечно, шучу, дурачок!» Но вместо этого я услышал высокомерное и покровительственное:

– Когда ж ты повзрослеешь... Как я устала...

– Отчего? Отчего ты устала, – я не мог не поинтересоваться. И, конечно, малодушно опасался узнать ответ. Но по – другому теперь было нельзя.

– Тебе давно не шестнадцать, а ты, словно дитя. Не живёшь, а играешь в жизнь. Все вокруг для тебя – игрушки.

– Как же это... – начал было я, но она меня остановила.

– Да, эти игрушки дороги твоему сердцу, ты их бережёшь. Но как же я? Обо мне! Когда ты будешь заботиться и обо мне!

– Прости... я не понимаю...

– Я что, не по-русски с тобой разговариваю? Конечно! Тебе проще разобрать крик о помощи шмеля, чем мой! Ты... ты... Знаешь, ты – гадкий лицемерный человек. И мне наскучило делать вид, что все эти беседы с грызунами и гадами нормальны.

– Замолчи. – попросил я тихонько, но она не унималась.

– С ними невозможно договориться! Они тебя не понимают! Они – примитивная форма жизни! Мы их или травим, или едим. Всё! Третьего не дано!

...Я молча смотрел, как она собирает вещи. Кот, которого я подарил ей на день рождения, недолго метался между нами. И, даже когда за нею захлопнулась дверь, продолжил сидеть на моих коленях, преувеличенно громко урча.

Наутро мне было стыдно выглянуть за окно. Наш разговор могли слышать. Кто-то сквозь сон, в замершем, охладевшем ко всему пруду, иные через приоткрытую форточку. Я не был уверен совершенно, но понимал, что иначе и быть не могло. Слишком громко, чересчур уверенно, был оглашён приговор всей моей жизни. На подоконнике, обычно истоптанном игрушечными пятками мышей и исцарапанном птичьим маникюром, теперь было совершенно пусто. Так же, как и у меня на сердце.

Прижавшись лбом к стеклу, я тцился разглядеть мышь, что днями хлопотала внизу, в мёрзлой траве, прильнувшей к стене дома. Но её не было. Природа отшатнулась, отстранилась от меня, всматриваясь, – не ошиблась ли, подпустив к себе так близко. Я едва не зарыдал, но тут, откуда-то сверху, из щели, прямо на руку слетела божья коровка. Она нарочно прервала свой сон, чтобы утешить и заступиться за меня.

Я так обрадовался! И, не мешкая, захлопотал: затопил печь, поставил чайник. И уже к полудню кот властными жестами через стекло руководил очередью птиц, слетевшихся на подоконник пообедать. А божья коровка пила сладкий чай, взобравшись на край блюдца. Нам было уютно. Даже без

той, женщины, которую любил больше, чем себя... Не знаю, насколько не прав был я, что дал ей уйти. Но я точно был виноват в том, что не понял, кто она, раньше. Только и всего.

Под утро

К утру ему стало нехорошо. Пепельный цвет лица выдавал крайнюю степень утомления. Он, наконец, позволил себе присесть и слегка ослабить галстук. Из-за в Орта показались полоска чистой белоснежной кожи... Девицам из кордебалета стало совестно. Ведь он, так же, как и они, трудился ночь напролёт. Даже, быть может, немногим больше! Когда, сохраняя невозмутимое и любезное выражение лица, он провожал поздних гостей к гардеробу и на выход, девушки едва ли не падали и ложились, где придётся. А он всё стоял и ждал, покуда последний из посетителей не скроется из виду. Девицы дремали при любом удобном случае. И часто, театрально закатывая глаза, воздевали руки к небу, и стонали о том, «как надоело... всё это!» Стыдно признаться, но им приходилось даже обтирать себя сухим. Украдкой, в укромных уголках. А он... Он был стоек выше меры, и не давал усомниться в этом никому. Раз в месяц он исчезал ровно на сутки, но это был единственный, оговоренный контрактом день, когда заведение было вынуждено обходиться без его услуг.

Теперь же... Девушки были в относительном порядке, а ему явно нездоровилось.

– Тяжёлая ночь, – оглядев девиц, и почти не стесняясь внезапного недомогания, так как даже оно было ему к лицу, и продолжил, – Такое ощущение, что весь город нынче был у нас.

Девушки, в облегчении от того, что он сумел, наконец перевести дух и заговорил, наперебой стали уверять, что не видели ещё такого скопления гостей. А виной всему оттепель, которая открыла форточки и двери, да вытолкала взащей всех, кто сидел заперти из-за морозов...

В комнату вошла кастелянша. Поморщив, как и положено замужней даме, нос в сторону тех, кто не может себе позволить дневную смену, она отдернула гардины. Натянула и расправила голубоватый с розовыми разводами тюль. Не задерживаясь дольше, пошла наводить порядок в других местах. Честно говоря, она слегка завидовала тем, кто работал по ночам, и охотно присоединилась бы к ним... По её виду этого было не понять, но она прекрасно осознавала свою ущербность. Так как даже в юности не могла похвастаться хорошей фигурой или терпением, а в ярком наряде выглядела бы и вовсе нелепо.

Как только опасность обморока миновала и ему стало лучше, девушки засобирались. Но переодеваться в присутствии мужчины казалось неловким. Хотя и беспокоить его в таком состоянии было бы немислимо.

– Надеюсь, вы меня извините, – понял он замешательство дам. – Я прикрою глаза плотнее. К тому же, – лукаво усмехнулся, – я слишком устал, чтобы у вас был повод остерегаться меня.

Стараясь не шуметь, девушки выходили, тихонько прикрывая за собой дверь. Все они жили далеко от места работы и, добравшись до дому, едва успевали подремать, как им уже пора было назад. Принужденные блистать ежевечерне, исключая череды предзимних пасмурных ночей, упорно тянули ляжку своего предназначения. Ибо все они были звездами. Каждая, сама по себе.

Месяц же, а это был именно он, так и дремал, сидя в кресле, пока день, старый бесцеремонный его товарищ, не указал ему на то, что пора уходить.

Тропинка

Шаги хрустят тропинкой, как карамелью. Вкусно. Мятно. Идти можно только прямо. Спущенные шлагбаумы поверженных временем дубов не дают пройти ни налево, не направо. Только взглянуть сквозь шторы кустарника, где там что.

Заспанный дятел с долотом, доставшимся от деда, уже за работой. Стружка сыплется рядом с тропинкой, мышам на радость. Хватают, сколь могут, охапками, – и тащат в нору. Но успевают прищуриться в сторону, откуда стук. Любопытно им.

Дереву самому интересно, что выйдет, по завершении трудов. И ведь не страшится оно! Ибо птица всегда нежна, на удивление, и не делает больно.

А с высоты, колокольчиком, голодная синица: «Дети, завтрак!» Только где его раздобыть? Одна надежда, – на забывчивость и сердобольность запасливых соседей. Или, – что люди не растащили всё по своим кладовым.

Совсем рядом с тропинкой, широким росчерком гордых и мужественных, кабан оставил свою записку: «Скоро буду! Ушёл гулять!» И ведь не обманет, вернётся. Достанет припрятанный в корнях дуба кулёк с желудями, и будет грызть, чавкая на всю округу.

Обкусанные ветром ветки, следы нарочитых осенних сражений, заботливо отстранены с пути. Сверху за этим следит ворон. Тяжко ему перемешивать густой сбитень воздуха, но – служба. Иначе нельзя.

А над ним, званием выше, – ястреб. Нарядившись розовой чайкой, летит на рассвет. С докладом о порядке, за который в ответе.

Тропинки. Дела нет, куда ведут они. Важнее – бремя чьей поступи готовы нести они без усталы, и так долго, пока не позабудешь, зачем и куда шёл.

Успеть...

Волк был немолод. И давно позабыл – как это, торопиться. Его сердце работало, будто часы, которые куда-то опаздывают. И так же гулко металось, словно рвалось изнутри. Было непонятно, как можно сдерживать в себе это биение. Сердце явно стремилось к свободе. Его определённо пора было отпустить, и от того было очень не по себе.

– Успеть... успеть... успеть... – сипло бормотал волк, задавая ритм своей тяжёлой поступи.

Обессилев, решил-таки передохнуть, остановился и привалился боком к осине. Промокнул лоб побитым молью рукавом её сюртука. Зелёного. Бархатного. Близоруко рассмотрел ткань: «Мох...» Втянул терпкий талый запах духов... Усмехнулся нехорошо. «Падёт скоро», – подумал он, и за компанию с погибающим деревом взвыл негромко, приподняв сухой нос кверху. А там...

Чернолесье тёрлось своей небритой щекой о нежную, намыленную, неба. А то улыбалось, не отворяя лица, чтобы не чувствовать вкуса пены. Морщилось загодя: «Несладко». Не сладить с доверчивой наивной вознёй. С помехой, мимо которой и пройти-то жаль. Возится дубрава, как щенок в лукошке, а коли царапнет, от неловкости, дотянувшейся лапой, веткой сосны, -после скулит стволами надломлено словно стонет.

Сосна тут на манер приёмной, сиротка. Лисица играла с

ребятишками, и те закатали шишку под пятку дуба. Старик, хоть и слезлив, обругал малышей, что ребёнка от мамы забрали. Но делать нечего, они уж и сами забыли – где бегали, откуда взяли без спросу. Вынянчил малышку дуб, привык к сосне, полюбил, как дочку. Каждую осень кутает её потеплее, чтобы зимой не простудилась. А та – смеётся! Не надо мне, и так всё хорошо, ложись, мол, скорее, весной разбуджу.

– Ну, ладно, коли так, – соглашается дуб, – Всему хорошему – короткий срок, это у зла пределов не отыскать. – и засыпает.

Вместе с дубом дремлет и лес. Мелкими пучками, как у ребёнка, резинками опустевших гнёзд стянуты его волосы. Чтобы не лезли в глаза, не отвлекали от дум. Есть у леса забота: чтобы всё было на своих местах, дуб рядом с дубом рос, ясень с ясенем. Но вот с сосной, как быть теперь?

– Ей тут не место, а исправить этого никак нельзя. И не ведать ей своих корней вовек. – вздохнул лес.

– Да... дела. – не мог смолчать волк, – Важно знать свой род. Это – подписанный кровью, тайный договор между грядущим и прошлым. Ступая по судьбе без понимания, кто ты и откуда, бредёшь, словно безымянный. Как сырой, в веках. – Высказавши вслух то, о чём так тяжело и долго думал лес, волк усилием воли поднял своё слабое тело, и повёл дальше. Он спешил добраться до места, где родился. Ему мало осталось. Ему очень надо было... успеть.

Погодя зимы

Облако стремилось бежать. Застигнутое врасплох, оно удержалось подле вершины самой высокой сосны, якобы любясь округой. Чтобы поверить в это, нужно было обладать воображением, лишённым преграды рассудка. Но за этим совершенно некому было следить. Тугой на ухо осенний лес большей частью дремал, а просыпался лишь иногда. От собственного храпа или от случайной поступи тех, кому не суждено было заснуть.

Сытый, почти круглый воробей, от безделья стучал по льду пруда. Рыбы тянули с ответом и не открывали. Хотя сквозь витражное стекло двери было видно, как на цыпочках они подошли ближе, и прислушиваются, затаив дыхание. Пытаются понять, кто тревожит их в столь промозглый час.

Не стесняясь присутствием поползня, мышь ела холодную кашу из миски. Толкая друг друга плечами, выбирали они те части, которые размякли, покуда лебезили перед ненадолго заглянувшим солнцем. Полёвка неспеша жевала сваренную крупу, сидя на ней верхом. Хватала куски прямо так, руками, даже не сняв меховых перчаток. А поползень метался меж миской и гнездом. Он столовался в одиночку. Из деликатности частью не доедал, а уносил с собой для супруги. Та слегла и не могла пока сопровождать его.

Обделённое вниманием, облако улучило момент и выпустило из рук макушку сосны. Земля, набирая скорость, покатила колесом прочь, раскачиваясь слегка, как телега на ухабах. И солнце не медля, званым гостем, принялось распаковывать чемоданы. Топить снег для чая, сдёргивать серые чехлы, и... так бы тому и быть, если б не ветер. Унылый педант, он вернул на место облако и всё, чему полагалось быть подле: ускользящую дымку последнего тепла, похожую на пар из печной трубы, сумрак... осень.

А облако... Неугомонное, оно всё ещё предполагало бегать. Пусть не теперь, но после. Погодя зимы.

Ради жизни на земле

Ожидая нескорого тепла, птицы топтались под крышей, как проезжающие на станции. Заметно сторонились друг друга и хмурились, прятали носы за ворот пуховых жилетов. Подмерзая, сбивались-таки в тесный клубок. И тут уж – неважно, где чей хвост, ибо каждая старалась не оказаться с краю. И всё же, – свысока и почти злобно, птицы наблюдали за тем, как мы балансируем на скользком. Они-то могли позволить себе не передвигаться по земле пешком. Но нелётную погоду, впрочем, никто не отменял.

Дорога была... Нет. Какое там! Её не было. Глазурь дождя, в обжиге холода. Влажный, как морской берег, гравий, чьё достоинство унижено колеёй и сжато в кулаке мороза. А ещё... Это было похоже на восточную сладость, гозинаки. Орехи, по шею в сиропе. Глядеть красиво, жевать грустно...

идти страшно. Немыслимо даже! Хотелось остановиться и не двигаться. Впрочем, из-за этого быстро мёрзли ноги.

– Ну, и как тут ходить?!

– Аккуратно.

– Я не конькобежец, не умею, у меня ноги разъезжаются.

– В разные стороны? – смеётся он.

– Не издевайся! В одну!

– Это как?

– Ноги налево, а я вся вправо.

– И ты вправо!

– Прекрати, пожалуйста! И... – и он взял меня за руку.

Стало уютно, удобно и ни капельки не скользко. Свет фонаря раскачивался в такт наших шагов и в какой-то момент осветил двух мышей, оказавшихся чуть впереди. Они шли рядом, прижавшись тесно, бок о бок. Поддерживали друг друга ровно также, как это делали и мы.

Когда нагнали мышей, пришлось умерить шаг, чтобы, случайно поскользнувшись, не угробить попутчиков. К дому подошли вместе. Мы юркнули в норку своей двери, а они в нору под нашей.

– Устала? – спросил он, помогая раздеться.

– Да что ты! Нет!

– Я вот тут... понял. Если нас может остановить такая безделица, как лёд на дороге... Мы непростительно беспечны. Нас всегда волнует куда идём, а не как. А ныне, банальная потеря равновесия сделала нас беспомощными!

– Знаешь, как в старину называли это состояние? Перевес бытия! Потеря равновесия, это он и есть, – неподвластный нам перевес.

– Но я взял тебя за руку...

– Мыши шли, поддерживая друг друга...

– Нам ясно дали понять, что земля подставляет своё плечо, кем бы ты ни был.

– Просто надо помнить о жизни, которая происходит, ради неё самой.

– ... ради жизни на земле...

Птицы завозились под одеялом чердака. Они менялись местами, пуская тех, кто продрог у края, в тёплую гущу живого клубка, в середину жизни, в самую её суть.

Соседи

«Все мы немножко лошади...»

Вл. Вл. Маяковский

Белка опасливо выглядывала из дверного проёма дупла. Минуту назад, мимо её лица, с тросов дождя сорвалось дерево. Это был не первый в жизни поверженный на её глазах ствол. Но первый, в котором оказались все до единого запасы на зиму. Она не ленилась, собирая ягоды, корни, семена, траву, лишайники и орехи. Укладывала их так, чтобы ничего не испортилось к весне, и не пришлось бы грызть тех, ко-

му не повезло до неё дожить. Зная про свою забывчивость, белка придумала хранить провиант в разных дуплах одного дерева. Дабы не искать. Ровно это же было поводом избавить себя от сожалений о напрасных трудах.

Раскладывая по полочкам всё, что удавалось добыть, белка звенела, подпевая дятлу. То ли от хорошего расположения духа, то ли из благодарности к столярному таланту последнего. Ей и в голову не могло прийти, что немалое число полостей в коре – скверная примета.

Как только была пристроена последняя гроздь калины, эдакий милый излишек, которым можно было бы поделиться с гостем, белка выскочила на минутку за салфеткой. (Каждая приличная барышня должна иметь весьма приличный их запас! И у белки в спальне хранилась целая, нераспечатанная ещё упаковка прекрасных салфеток, с рисунком в виде кленового листа.) Так вот, она выскочила на минутку, чтобы достать искомое. Поправляя сбившуюся причёску, замешкалась перед зеркалом, как услышала влажный, приглушённый вопль. Бросилась к выходу и застала последние мгновения жизни дерева. Оно пало. Со всем его содержимым! Телесной пищей и лакомствами, которые являются, отчасти, питанием сил душевных, ибо рассеивают грусть и помогают превозмочь тоску ожидания лучших времён.

При падении ствол не отделался ушибами. В обрётённом навек бесчувствии, он обнаружил каждую из своих тайн. Прямо на сырую землю просыпались запасы, сделанные бел-

кой. Тут же, из лопнувшей пломбы сот, пролился мёд... В выпачканных землёй пальцах корней, дерево сжимало спящего недвижимого ужа и комок ваты – гнездо устроившихся зимовать комаров.

– Мне конец, – прошептала белка.

В подтверждении её слов, на шум сбежались мыши и принялись растаскивать дармовую, упавшую с неба, провизию.

Белка вернулась в спальню, кинулась на постель и замерла. Спряталась от овладевшего ею ужаса. Не было сил стоять и наблюдать за тем, как по крохам исчезает её жизнь. Она ясно осознавала, что без припасов под рукой, ей не пережить сезона дождей. А после, обессилев от голода, съестного и во-все отыскать будет нельзя. Выход был утерян, но в лабиринтах ли судьбы или злого умысла – кому какая печаль. Белка решила, что больше никогда не встанет, а будет спать, спать, спать, – покуда не заснёт навсегда.

Но наутро она, всё же, проснулась. Подле её кровати стояла растрёпанная мышь и громко чихала. Белка села на постели, в изумлении глядя на гостью:

– Как? Как вы сюда забрались?!

– Как обычно, – буркнула мышь и вновь чихнула. – Слушай, давай без этих твоих, выканий. Мы всю ночь грузили твоё барахло. Кое-что попортилось от дождя, но большая часть цела.

– Как... цела?! – у белки перехватило дыхание. – Это... Это невозможно! Я сама наблюдала, собственными глаза-

ми...

– Пока ты наблюдала, мы с ребятами всё перетасили в хорошее место. Дупло, правда, невысоко от земли, сажень, не больше, зато просторное, с наплывом. Там всё уместилось.

– Не может быть...

– А, и ещё, мы там поели немного твоего. Домой на ужин некогда было бегать. Спешили. Ты уж того, не сердчай, соседка.

– Я – соседка?! – растрогалась белка.

– А то кто ж. Мы – соседи. И всегда друг другу помогаем. Ты нам, мы – тебе. Да, ладно уж, пошли скорее, покажу, где твой новый чулан, чтобы не искала. Он тут рядом совсем. Мы ж понимаем. А то, с твоей рассеянностью...

Белка поспешила за мышью. Та на удивление уверенно шагала по коре, чуть приподняв хвост, чтобы не оцарапать его. Спустились на землю почти одновременно, немного постояли у погибшего накануне ствола. Простились с ним.

Дерево отличалось от гигантской свирели величиной, да строем отверстий, располагавшихся на его теле в полном беспорядке.

– Как... как можно было не догадываться, что оно упадёт, не пойму, – вздохнула мышь.

– Я надеялась, что этого не произойдёт, простите.

– Да ладно тебе, чего в жизни не бывает! Все мы похожи!

– Чем? – поинтересовалась белка.

– Хотя бы тем, что временами совершаем ошибки, – ответила мышь и указала, куда идти.

Обе передвигались прыжками. Мышь – длинными и невысокими, а белка короткими, но повыше. Они и в самом деле были похожи.

По чину почин

Ветер трудился целый день. Очищая его от снега, он не выглядел утомлённым. И не потому, что ветер трудно было застать на месте или рассмотреть. Он совершенно откровенно бежал от дела. Щелчками сбивал снежки с макушек сосен. Брал щёпотью и относил в сторону с осин. С дорожек – сдувал, как лепесток огня со свечи. А с заборов... смешно сказать, – скидывал, будто детской лопаткой. Часто-часто. Чисто-чисто? Увы! Снег, как сор, был оставлен везде, кроме, пожалуй, тех уголков, что были защищены от его бесчинства. От ветрености, – и простительной, и убедительной. Он был в своём праве что-то делать или ничего не предпринимать.

Прогуливаясь, он вершил судьбы. В охотку срывал грузные покровы с подмороженных трав. Случалось, сводил пару сугробов в один, на манер колыбели. А, бывало, что срывался, и в беспорядке ярости смешивал все краски в одну. Без надежды на то, чтобы восстановить хотя бы в памяти, как оно было до его безумной выходки.

Но всё это, пока мороз не вступал в свои права. Тот меры не знает ни в строгости своей, не во власти. И шутить с собой не позволяет никому. И когда однажды, в сиянии утра, сквозь туман собственного дыхания, ты видишь расцарапанный до продрогшей земли малиновый сугроб... Или ровные края мышиных нор, будто шнуровку одного края тропинки к другой... Чтобы теснее. Чтобы не вырваться. Чтобы тишина и приличная бледность во всём... Ты стыдишься своей праздности. В особенности – уюта подле тёплой печи, что дымит с утра в кулачок, как малолетка, а к вечеру принимается щёлкать дрова, словно орехи.

И тянешь за подкладку шубы рябину. Калину – за рукав, тихонько. Чтобы не с мелкой пылью, а так, невзначай как будто, стесняясь почти. Просыпаешь солёного, сена, семян или крошек. Больше, чем можешь. Но меньше, чем захотел. Просторечие розовых щёк, озорство сбитой чёлки сугроба, – это всё после. Потом. Не теперь.

И на виду выдыхающих ровно, глядишься смешным. А они для тебя... нечужие... То – люди. Не сознаются в боли, которой причинны. Будто ветер. По чину почин.

Первая неделя зимы...

Вокзал. Притворный запах кофе. Уютная доброжелательность граждан тоже ненастоящая, ибо спросонья. И неподдельное равнодушие. Ровное дыхание навстречу чужой беде.

Он словно бы сошёл с открытки про любимых большин-

ством. Детьми и дамами явно. Тайно – усатыми и безусыми мужчинами, суровыми на вид. Чьё дело – рядить молча судьбами Родины. Радеть о здании самого государства и благополучии его обитателей. А тут... Пушистое аккуратное нечто. Ничто, практически. Безделица. Котёнок. Чуть больше клубка шерсти на шарф для ребёнка двух лет.

Стёганный потолок вокзала мягче одеяла. Тёплая речка воды бурчит в животе радиатора под окном. Можно посидеть рядом и спеть ей в ответ. Или запрыгнуть на подоконник, смотреть как ловко танцуют снежинки у всех на виду, при свете софитов ночных фонарей, и ждать. Кого ждать, котёнок не знал, но понимал, что надо. Это было его главной работой в новой жизни. Сидеть и чаять встречи с кем-то. Для чего он не знал наверняка, но чувствовал, что, когда это произойдёт, он всё поймёт так, без лишних движений тела. Когда уставал сидеть у окна, спускался на огрубевшую от шагов проезжающих кожу пола. Она казалась щекотной для нежных пяток котёнка, поэтому хотелось побыстрее проскочить затёртый кафель, чтобы взобраться на гладкое кресло. Пусть с металлом и приходилось делиться теплом своего тела, зато после его прикосновения были неприятны в меру. Таким манером котёнок перемещался по смежным комнатам залустного вокзала, воображая, что он тут живёт. И некому было разубедить его в том.

Пока однажды дверь вокзала не отворилась в очередной раз и, вместе с порцией мороза, запустила в помещение даму в меховом капоре. Одной рукой она тянула за собой тележку чемодана, другой девчужку лет восьми. Получив в кассе гарантии существования пассажирского состава, на который был куплен билет, она расположилась на трёх креслах одновременно, усадив себя, чемодан и внучку. Девочка, впрочем, почти сразу вскочила и с криком «Ой... какой хорошенький!», вцепилась в котёнка. Тот не успел ни убежать, не испугаться. Через толстую ткань неприятно холодной одежды, котёнок расслышал частый стук сердца ребёнка, так похожий на его собственный. Когда сердца девочки и котёнка стоворились между собой, малыш заурчал. Впервые в жизни. Эти, новые звуки, вырвались на волю с такой мощью, что он даже закашлялся.

– Брось его, он больной, – приказала бабушка внучке.

– Бабуленька, посмотри, какой он красивый! Такие котики бывают только в сказках! Давай мы возьмём его с собой, – принялась упрашивать девочка. Котёнок, седьмым чувством догадался, что вот, именно в эту минуту решается его судьба. Перестал кашлять и, контролируя каждое движение, заурчал, не позволяя чрезмерной радости вмешаться и испортить впечатление о себе.

– Зачем он нам нужен? – строго поинтересовалась женщина у внучки.

– Он будет ловить мышей! – почти выкрикнула та в ответ,

но бабушка резонно возразила:

– Помилуй, что за глупости, у нас, к счастью, нет мышей! Кроме того, на котёнка нужен билет, а на животных билеты не продают.

Кассиру вокзала хотелось помочь девчужке, а заодно и пристроить мохнатого пассажира «в хорошие руки», поэтому она вмешалась и сообщила о том, что билеты продаются и на котов, и на собак, и даже на попугаев, если их везут семьями.

– Вы мне не помогаете, – укоризненно и раздражённо сказала дама в сторону окошка кассы и добавила внучке, – у нас нет денег на билет для котёнка. Едем только мы с тобой.

– Пусть он едет по моему, а я подожду, – умоляюще прошептала девочка.

– Это исключено. Выбрось сейчас же. Нам пора.

Девочка внезапно прекратила рыдать и... не просто выпустила котёнка из рук, а со всей силой неисполненной прихоти швырнула малыша на пол. Тот был чересчур счастлив мгновение тому назад и слишком невелик, чтобы уметь загодя распознать подвох, поэтому подставив земле спину, упал навзничь.

Полежав пару мгновений, чихнул и перевернулся на живот. Потом поднялся, огляделся. Девочка... хозяйка... должно быть она немного груба, но она же играла с ним, правда? Вот тут два великолепных столба и вероятнее всего, за од-

ним из них прячется она. И станет сердиться, если котёнок не примется её искать... Котёнок обежал один столб, другой. После вернулся к первому и осторожно выглянул из-за угла. То же самое предпринял подле другого... Хозяйки нигде не было. Девочка ушла, не окликнув, не обернувшись ни разу.

Всё это время за происходящим наблюдал не очень молодой, но крепкий ещё мужчина. Он был одинок и часто приходил на вокзал, садился в тихом уголке и наблюдал, как люди встречаются, ожидают... живут! А после уходил в свой пустой дом, заставленный массой вещей, которые, как он надеялся, пригодятся когда-нибудь. Только вот это «когда-нибудь» всё никак не наставало. Впрочем, вещи заполняли пустоту жилища, и этим отчасти оправдывали своё существование.

Мужчина подошёл к котёнку, который растерянно стоял посреди вокзала, наклонился к нему и зачерпнул широкой ладонью с пола. Распахнув грубое драповое пальто, спрятал его там. Ощупал малышу лапки, притянул к себе овальную голову с идеальными треугольникам ушей, заглянул в глаза. Котёнок безвольно позволял трогать себя, но молчал. Ожидал, что вот, ещё пара мгновений и его бросят на пол, или за дверь вокзала. А там, – и мороз, и собака, что, бывает, грозно глядит на него через окно.

– Не веришь? – усмехнулся мужчина. – Понимаю. Мне

тоже когда-то разбили сердце, как и тебе. Вот такая же вот девчушка. Только немного постарше. И я тоже потерял способность мурчать.

После этих слов котёнок поднял голову и глянул на мужчину.

– Ты спрашиваешь, как это я, большой и взрослый, умел вытворять подобное?! О, мой милый, когда любишь, проделываешь такие вещи, которых сам от себя не ожидаешь...

Котёнок вздохнул в ответ и упёрся в грудь мужчины. Не отталкивая его от себя, но в поисках опоры.

По дороге домой он дремал и размышлял о том, какой хороший, всё же, был нынче день. Меньше, чем за сутки он познал разницу меж влюблённостью, что происходит ради себя самого и любовью, которая всегда направлена на других. И это – всего за один день!!! А сколько их ещё будет впереди. Ради этого стоило жить. И он замурчал, громко и решительно, чтобы его было слышно там, наверху. Поверх пыльного драпа и седой лысой макушки. Мужчина второпях оставил шапку в зале ожидания вокзала, но возвращаться за нею не стал из страха разочаровать котёнка.

Не выспавшийся и злой с утра ветер, к вечеру сбавил тон и задумчиво, даже сентиментально водил пальцем по редким волосам мужчины, гладил против зёрен лес. У дубов выбирал космы желудей, и нежно осторожно, ласково проводил ладонью по ёршику сосен. Те, соловья, впадали в дрему и

роняли наземь шерстинки игл.

Шла к концу первая неделя зимы...

Она и он

Ворон сидел на ветке дуба, прижавшись боком к стволу, и ждал попутного ветра. Они были немолоды оба. Дерево давно перестало потакать ветру, а чаще, ворча, перечило ему и сторонилось грубых забав. Спустя годы, они грозили ему бедой, крушением надежд и самой жизни. Но птица, сменяя по случаю возраста опытность за мудрость, приспособливалась к порывам, дабы переложить на плечи ветра часть бремени полёта. Попутный, – тот был для неё желанным, всё ещё. И обременительным, в том случае, если студил глаза.

Ворон хворал спиной. Плащ маховых перьев давил на плечи. Случалось, чаще промахивался мимо цели на подлёте из-за выцветающего зрения. Столь велика была плата за годы неумеренной неосознанной радости парить, расставив пятерню хвоста, взирая высокомерно на приземлённое существование иных. Пора пределов, в которую вступил ворон, тяготила. Но не его, а тех, кто знал его молодым, здоровым и полным сил. В большей мере это пугало Её. Ту, которая жила рядом уже много лет.

Собственно говоря, в нём не замечалось каких-то особенных, видимых признаков утомления старостью. Намёков на бренность... ветхость видно не было тоже. Отточенные лезвия крыл излучали сияние неба, которое не уставало любоваться ими.

Однако частые уколы мелких неприятных случайностей, вынуждали задуматься о том, как жить дальше. Если раньше склонить соплеменников к охоте было делом спорным, то теперь доходило до споров и крика. Кому где быть, как делить добычу. В прежние времена ворон не чувствовал смятения, не сомневался ни в чём. А уж после того раза, когда, выгнав из тёплой норы зайца, он вдруг пожалел его... Пошёл слух о том, что ворон стал не тот, и дел с ним лучше не иметь никаких. И ворон сник. Про человека сказали бы, что он сдал. Отступил от позиций своей жизни. Он редко вылетал из дому, отчего сильно ослаб, и потому чаще дремал, устроив голову на краю гнезда.

Супруга давно бросила попытки утешить ворона. Большую часть его работы взяла на себя. К обеду приносила то полёвку, то птицу, или часть чего-то, чему и названия-то не подберёшь. (Врановые славятся своей неразборчивостью!) Каждый новый трофей ворон встречал презрительной ухмылкой, брезгливо трогал запущенным ногтем... и глотал, прикрыв глаза.

– Кормишь? – хрипел ворон супруге, зримо стыдясь, – зря. Не доживу я до ледостава. Не траться.

– Почему же? – преувеличенно возмущённо отвечала та и, хлопнув крылом, вылетала за новой порцией добычи.

Устраиваясь на ночлег, супруга неизменно ласкалась к супругу. Отвлекая его от грустных раздумий, отыскивала в создавшемся положении определённые удобства:

– Ты всегда хотел заняться хозяйством, – напоминала она. – Содержать в порядке сразу два гнезда, жить на два дома – забота не из лёгких!

В ответ ворон лишь горбился, что прибавляло к его унылому образу нотку скорби. Глядя на это, хотелось махнуть рукой. И, через малый срок, между супругами возникла некая напряжённость, которой не замечалось раньше.

Так бы оно всё и катилось под уклон, если бы неким густым серым утром, в тон настроению ворона, с одной из расположенных вблизи прогалин не послышался крик, распознать происхождение которого было затруднительно. Растолкав удивлённую супругу, ворон с трудом вылетел навстречу звуку, делать это он уже почти отвык.

Залысина поляны обнаружила пару воронов, живущих по соседству. Маховые перья одной из птиц были зажаты меж телом степняка и потолком его скромного жилища. Ворон хлестал зайца свободным крылом, но тот так хитро застрял в дверном проёме собственного дома, что был не в состоянии освободить ни себя, не свою нежеланную добычу.

Наш ворон, разом взбодрившись от увиденного, хохотнул: – Ну... и кто кого тут поймал? Ты косоного или он тебя? – спросил ворон соседа. Но тот вполне ожидаемо промолчал, так как сквозь шум ударов, коими награждал и русака, и самое себя, слышать что-либо был не в состоянии.

Ворон с разворота, как бывало уже не раз во время охоты, внимательно осмотрел местность и заметил ещё один вход в нору, спрятанный в траве. Заяц был осторожен, как и любой, кому приходится рассчитывать только на себя.

Не желая зримого бесчестья, ворон приземлился неподалёку от второго лаза, прошёлся пешком, размяв ноги, и почти лёжа стал протискиваться через его горловину. Как только заяц почувствовал, что в филейную часть упирается нечто твёрдое, на смену неловкости и оцепенению вернулась свойственная бойкость, и... Заяц разжался, словно пружина, пробкой выскочил из норы, заодно освободив и крыло вороны. Наш герой выбрался следом, встряхнулся, как после сна и взлетел, не глядя ни на кого.

Спустя месяц, когда, словно пенкой на молоке, река вскипела льдом, в гнезде ворона всё было по – прежнему. Она занималась хозяйством, а он приносил в кладовку то полёвку, то птицу или часть чего-то, чему и названия-то не подобратьёшь. (Врановые славятся своей неразборчивостью!)

– Когда же ты займёшься домом, дорогой, – лукаво интересовалась она, приготавливая ужин.

– Потом, как-нибудь потом, – улыбался в ответ он, и с любовью глядел на ту, что была ему дороже всех на свете.

Время, которого нет...

Сначала было намерение.

Именно оно делает первый шаг. До свершений и подвигов. Даже бессознательных.

Намерение – это когда тебе не всё равно. Когда чужая жизнь становится так же дорога, как собственная. Когда все страхи оказываются намного меньшими, чем ты сам. И... к себе уже не вернуться. Тебя не вернуть никогда, ибо ты – это весь мир, вселенная. Вся!

Можно ли счесть подобное зазнайством, высокомерием, надменностью? Вполне. Но... Во имя чьих свершений? Чего ради? Кому оно нужно будет, увитое вензелями воспоминание? Тем, ради кого, но уж точно не тебе.

Перечитывая описания подвигов в наградных листах родных по крови, ищешь в себе отвагу, которая сделала их людьми чести. И не находишь. Разве только – надеешься, что не простынет в веках горячность, разбудившая в пращурах силы жить для других. Погибнуть за тех, кто скажет: «А я тут причём? Это не моё дело. Я бы так не смог...» Сделали ли бы они, если бы знали сомнений?

Сделали. Ибо – ведали: и наших, и своих. Войти во вкус, не отведав? Немыслимо.

– Так, – и улыбнулись бы пыльно. С прищуром округ тех, бездонных, прощающих всех глаз. Не по наивному недомыслию, а по глубокой, не имеющей пределов любви.

Неисполнимые посулы, как не востребованные за ненужностью дары. Возлюби ближнего... Даже, если это ему

ненужно пока. То ведь – лишь до поры. До времени, которого нет.

Навсегда...

«Навсегда» на пяльцах человеческого бытия... Если это обида, то ненадолго. Доброе дело куда как более обширно.

Когда сердце останавливает свой бег внезапно, скользит на окровавленных пятках по тонкому слою льда жизни... От того, что боль, которая копилась годами, переполнила его. И – не вздохнуть, не пошевелиться. Только стоять и глядеть, как вянет его бутон, в попытках вырваться за пределы клетки, о расшатанную дверь которой билось измятым плечом за мгновение до того. В ком было заперто. Навечно ли? Увы, но вечны лишь вопросы. Разгадок нет. Их быть не может!

Соль жизни не в том, чтобы избегать коромысло сомнений, но в том, чтобы, отыскав очередное состояние устойчивого покоя, уходить в сторону, в поисках очередного сокрушающего землю движения.

Мы навечно принуждены алкать изведенного иными. Топчемся, каждый – со своей стороны этого пирога, разгадываем начинку, пытаемся распробовать... отведать... И, как всегда, – не ведаем, что творим. Слишком издали должно глядеть: и на пирог, и на самих себя... И это расстояние – дольше предела того самого «навсегда», что коротко, как озарение. Стлань⁵ за слоем сдвигая на сторону то, важное,

⁵ слой

чего не постичь, но остаётся на пустоте блюда, как огрубевшее сердце вишни, с каплею яда истины.

Именно это и есть то самое, ради которого – всё, что округ. Только вот... о чём оно? Трудно уловить смысл, и резон влечения, постичь его. Иначе – проще. Пращица⁶ пытливости беспощадна, несмотря на несомненную, протяжную, как вой, ветхость.

Навсегда... Укор ли это? Даже познав действительность потери исхода из круговорота, в который нас не однажды ввергли, мы бессильны переменить его. И лишь одна способность не смириться, как безрассудная отвага, держит на плаву этот мир, в котором вечно лишь одно – любовь.

– А всё прочее?

– Канет.

– Безвестно?

– Навсегда.

⁶ «Пращица духовная раскольнических вопросов и ответов» епископа Нижегородского Питирима издавалась в 1721

В самом деле

Зима дремала, надвинув на нос капюшон неба. Куда не поворотись – сумрак, как не ступи – хрустит хрупко вяленая корочка льда. А под нею – сочный влажный кус земли с изюмом жуков, малиновым желе дождевых червей и лакрицей слизней. И те – сочные сладкие подмороженные корешки, обнажившие край белоснежной плоти после бани дождливых дней!!! У... Амброзия, не иначе!

Но вот оставь себя тут, под деревом... Пропадёшь. Почва под ногами потеряет очарование и покажется неряшливым месивом. Жаль⁷ сонного дня усугубится до седины ночи. И не тот плат, побитый молью звёзд, окутает её обширный дебелистый стан. Но старушечий, серого цвета, пуховый, плотной вязки, ещё непросохший вполне, со вцепившимися намертво репьями...

– Слово-то какое... «Намертво». Как его, при живых-то?! Зачем оно им!? – И молчишь, растерян, пучит чашу слёз до суха.

– Стойте-стойте, не помешаю, пройду на цыпочках, вы даже не заметите, как я здесь только что была... – промолчит вдруг Лиса, и неслышно – мимо, оранжевым облаком с бе-

⁷ скорбь

лоснежной кистью кончика хвоста.

«Колонковая⁸...» – подумается отчего-то. – «Абсурд!» –
И тут же – жаром, желание бежать. Прочь! Но свершить это-
го ещё не удавалось никому

⁸ ворс сибирского хорька

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.